



Собеседник

Красулин Андрей Николаевич

Ведущий

Лепешонкова Нина Викторовна

Дата записи

Беседа записана 21 июля 2014 и опубликована 15 декабря 2014.

Введение

Первая беседа со скульптором Андреем Красулиным посвящена воспоминаниям детства и юности. Отец, биолог Николай Красулин, был участником трех войн и потерял ногу в Великой Отечественной. По космогонии Лапласа в пересказах отца будущий художник узнавал о Вселенной, а по картинам в Третьяковке — о религии. Как у большинства детей довоенных лет, отдельная глава воспоминаний Андрея Красулина — эвакуация. Во время войны семья уехала в эвакуацию в Бузулук.

В 14 лет Андрей Красулин поступил в четвертый класс Московской средней художественной школы, где занимался скульптурой. В 18 лет продолжил обучение в Строгановском училище под руководством Саула Львовича Рабиновича. После окончания училища скульптор получил мастерскую в котельной дома на Нижней Масловке и некоторое время проработал в архитектурной «шаражке»: Мастерской-институте по проектированию Дворца Советов.

В 1960-е Андрей Красулин начал собственный путьскульптора-монументалиста, сблизился с художниками «Левого МОСХа». Беседу завершают воспоминания о первой выставке и двух скульптурах, созданных совместно с Д.И. Шаховским, которые были приобретены Русским музеем.

Нина Викторовна Лепешонкова: Начнем речь издалека: из какого рода вы произошли? Поговорим о ваших родителях.

Андрей Николаевич Красулин: Мой отец родился в 1897 году в Батуми. Его отец, Петр Васильевич Красулин, был банковский служащий. Не знаю, какой это был банк: что-то вроде Госбанка, если такой был... до революции. Я не уверен в этом. Он переезжал из города в город, в некоторых местах заводил семейства, новые.

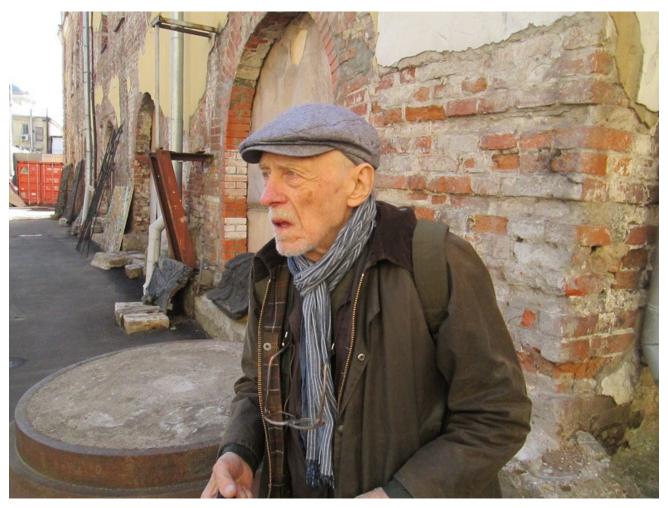
Н.Л.: То есть семейств было много.

А.К.: Был большой жизнелюбец. Я его видел, и во время войны, кажется, он приезжал. Отец не в него был совершенно. Отец родился в Батуми, но потом они долгое время жили в Вильнюсе, который назывался Вильно, и там отец, по-моему, успел поступить в гимназию, после чего они переехали в Смоленск, который он и считал всегда своей родиной. Он прожил в Смоленске до того момента, когда поступил в Московский университет. Это, стало быть, был какой-нибудь... 1914 год.

Н.Л.: Горячее время, так сказать, да?

А.К.: Да.Он поступил на биофак — или как он тогда назывался? Был призван в армию, но попал в школу прапорщиков, так что на фронте Первой мировой войны он не был. Когда совершился переворот, закрылась или разбежалась школа прапорщиков, и он уехал в Смоленск, откуда был мобилизован в Красную Армию. Но прапорщик, во-первых, не офицер, во-вторых, его дед, я думаю, был отпрыском какого-то купеческого рода. Либо бедным отпрыском, либо обедневшего рода. Фамилия, кстати, которая в Москве очень редка, волжская... Между Волгой и Уралом довольно распространенная фамилия. Этимология... Ну, во-первых, я помню, что коровы были по имени Красуля. «Красуля!» — тетки кричали, когда были стада. Но гораздо более содержательна этимология, наверное, по Фасмеру. «Красауля» — это братина. «Красаульник» — пьянчуга. «Красаволь» — это ковш, в том числе монастырский. Долгое время я оправдывал эту фамилию совершенно. Отец мой никаким излишествам не предавался никогда. Он был как бы человеком XVIII века: верил в разум. После Гражданской войны он вернулся. Он воевал и на юге, и на севере. Мало рассказывал, но из рассказа было понятно, что если на севере еще можно было это переносить, то на юге была отвратительная кровавая, пьяная вакханалия. Он вернулся и поступил в Тимирязевскую академию, которую и окончил.

Н.Л.: Какую, простите, академию?



Во дворе Архитектурного музея, 2015

A.K.:



И когда он приходил с работы, я залезал ему на живот, и он, к недовольству бабушки, рассказывал мне космогонию по Лапласу. Все это осталось в голове.

Вопрос о бесконечности Вселенной — это многих детей занимает — и что такое время, — очень меня занимали в возрасте пяти лет... Они донимали меня сильнее всего. Потом война... А нет, мы переходим на материнский род.

Материнский род — это московские священники. Но это была каста, так что это уходит в неведомую глубину. Жалко, пропали все альбомы. Сейчас вот, недавно, еще до смерти отца. Может, он их выкинул за ненадобностью. Там были альбомы, начиная с середины XIX века. Приход бабушкиного отца находился где-то на Трубной улице, в самом центре Московского посада. Детей у него было пятеро. Характерно, что никто не стал священником. Из них было три девочки... Нет, их было не пятеро, их было восьмеро, конечно. Бабушка была старшая. Все получили образование, бабушка закончила Мариинскую гимназию, рано вышла замуж, и была увезена своим мужем, тоже московским священником, в Бронницкий уезд. Сейчас уже не у кого спросить. Но мы с бабушкой там, по-моему, были после войны. Где родила пятерых

детей. Дед был, судя по фотографиям, очень красив. А ее отец... Она держала у себя на рабочем столике репродукцию «Голова Иоанна Крестителя» с картины Иванова. Вернее, это был этюд к этой картине. И говорила, что это вылитый отец. Я прадеда и прабабушку видел: они сидели рядышком на сундучке в квартире тети Жени у Красных ворот.

Н.Л.: А какая у них была фамилия?

А.К.: Как полагается, совершенно священническая: дед был Орлов, а бабушкина фамилия была Лебедева. Это вполне поповская фамилия. По-моему, это для не самых успевающих учеников семинарии, если они учились в семинарии, что совершенно не обязательно: они могли быть рукоположены без всякой семинарии, поскольку они наследственные и с младенчества в церкви. Квартира у Красных ворот, там жила тетя Женя. Они были бездетной парой. Ее муж дядя Коля был попом-расстригой и учил грамоте «товарищей» с Лубянки. Поэтому квартира была не тронута, только, по-моему, просто комната прислуги сделалась ей жильем, а они, уже, наверное, ее не держали как прислугу. И библиотека... У него была огромная библиотека, которая и сохранилась полностью. Мать закончила Московский университет. Она родилась в 1904 году, как я думаю. Никто не знает точно дня рождения, она никогда его не отмечала. Закончила биологический факультет и родила меня в довольно преклонном возрасте, лет в тридцать. По тем временам это называлось «старородящая». Вот то, что касается происхождения.

Н.Л.: А мне вот интересен вопрос...

А.К.: Да, не стесняйтесь, задавайте вопросы: я люблю отвечать на вопросы.

Н.Л.: А они были атеистами или все-таки... Вот отец, я так понимаю, вряд ли...

А.К.: Отец был по убеждениям классический социал-демократ. И конечно, был полным атеистом, это никак не укладывалось в лапласовскую картину мира. А мать водила меня по Третьяковке, и я с детства знал Священную историю по картинам. Она Семирадского мне показывала, также мы с ней в Питере были. Бабушка была искренне верующая. К сожалению, ее славянское Евангелие я потерял. Я его очень любил. После войны ее пригласили в Патриархию, дали ей маленькую пенсию и за умершего мужа и четыре Евангелия, изданных в Америке — у меня еще цела, одна, во всяком случае, — «книжки-малышки» детские. Это было Четвероевангелие на русском языке, с синодальным текстом. И дали маленькую пенсию за умершего мужа. Дед, Александр Васильевич, не был репрессирован как священник: он был раскулачен,, он был большой агроном-любитель, даже новую культуру выводил. Кажется, жил в полном мире со своей паствой, у него было большое хозяйство. Все-таки пять человек надо было кормить.

Н.Л.: Ну да.

А.К.: И он был арестован, куда-то сослан ненадолго, но возвращен или отпущен и работал в какой-то артели, что-то там гнул, я не знаю. И умер... не думаю даже, что от водки. Он был намного старше бабушки. Бабушка родилась, кажется, в 1883 году, вместе с Александром Блоком и... кто там еще? И Пабло Пикассо. Я его [деда] помню. Где-то мы сидим. Семья была еще большая и, в общем, не разлетевшаяся и не забывшая. Может быть, это было где-то здесь, в Обыденском. А может быть, в том Обыденском... Я помню слово «Обыденское». Я помню сливовый кисель необыкновенно вкусного цвета на столе, ножницы, которыми я обстриг себе ноготь вместе с частью пальца, и деда, пришедшего с работы и легшего на диван, сняв рубашку при этом. От рубашки сильный запах пота тоже помню. Не знаю, как выехать из этого проблемного рассказа...



1937

Эвакуация

Н.Л.: Я думаю, что это был... Можно перейти уже на ваш путь тогда?

А.К.: Значит, мать закончила биофак, ее специальность... Она, скажем, миколог. И всю жизнь работала в Пушкино на «Контрольной станции лесных семян». Она очень любила свою работу, обладала большой эрудицией. Она читала лекции на курсах, у нее было множество учеников. Она была человеком сильного характера и слабого здоровья. По убеждениям она была... А, мы же заговорили об убеждениях. По убеждениям она была последовательница... ну, не знаю, Руссо. Тоже человек из XVIII века. Но при этом ей, кстати, нравились книжки Макаренко о воспитании. Я был, естественно, главной частью ее жизни, что, собственно, меня потом и отдаляло от отца, я думаю, значительно. Хотя у них были всегда прекрасные отношения. Но у нее было убеждение, что человек должен пользоваться полной свободой. Поэтому в четырнадцать лет, я переехал в Москву, поступил в четвертый класс Московской средней художественной школы... Вы знаете об этом...

Н.Л.: МСХШ?

А.К.: МСХШ. Я не верю в случайности и обстоятельства. Но таковы были обстоятельства, что меня поздно, под конец экзаменов кажется, приняли в четвертый класс. И я жил у московских родственников, приезжая

иногда.

Н.Л.: А вот мне интересно: первое соприкосновение с искусством у вас когда произошло? В каком возрасте, яркое впечатление?

А.К.:Ой, я забыл важнейший кусок жизни совершенно! Это эвакуация. Сразу после того как немцев остановили под Москвой, мы отправились в эвакуацию. Это все совершенно живо перед глазами. Сейчас это место называлось Колтубанка, на железной дороге «Восток—Запад», в сотне километров от Волги на восток. И около этой Колтубанки есть станция Бузулук, где находится реликтовый сосновый бор. Среди сухой предуральской степи. Этим бором в конце XIX или даже в начале XX века, занялся господин Кнорре, как полагается. Его интересовала проблема, что бор плохо восстанавливался, а посадки вообще не приживались. Но бор действительно огромный, прекрасный. Он был объявлен заповедником, там водились лоси, волки, потом туда привезли оленей. С лосями я не встречался, а с оленями мы много встречались, потому что они были полуручные. Кнорре построил там прекрасный научный городок с домами по планировке как казачьи курени, но внутри, кроме русской печки, была и великолепная черная голландка, терраса. И в этом же поселке стояли крепкие избы местных, которые все работали здесь же, на станции. И там, кажется, я провел два года. После полуголодной Москвы это... Бабушка знала сельское хозяйство по опыту, да и мать тоже знала.



Там огород был, и это было большое изобилие после голодной Москвы. И резко континентальный, но праздничный климат: сорок градусов летом, сорок градусов зимой. Зимой верблюды в санях.

Н.Л.: А это сколько было вам лет?

А.К.: Мне там исполнилось уже семь лет, и я даже пошел в первый класс. Я ходил очень недолго: мне не понравилось. Школа была километрах в двух с половиной, в другом большом селе, где в одном помещении стояли парты и сидело четыре класса. То есть, там сидели такие здоровенные ребята, что просто страшно смотреть. Мне дали прозвище Дилехтор...

Н.Л.: Дилехтор?

А.К.: Дилехтор. Может, я кого-нибудь поправил. Поправил диалект. А потом решили меня поколотить, но я убежал и сказал, что больше в школу не пойду. Меня учили дома. Там началось чтение. Это... это Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», это Киплинг «Книга джунглей», «Плутония» Обручева, Джек Лондон «Белый клык». Ну и жизнь в лесу: все время можно отправиться в лес. И на лыжах, и пешком, и собирать грибы... Речка настоящая. Я там видел то, что сейчас увидеть очень трудно: начало ледохода. Я, наверное, очень затягиваю историю...

Н.Л.: Нет-нет, это как раз...

А.К.: Задавайте вопросы.

Н.Л.: Я хотела спросить: а вы один были в семье или...

А.К.: Да. Потом появился мой единокровный брат, не появился, а объявился. Но я был уже взрослый, а он жил в Новочеркасске. Отец успел побывать в Новочеркасске и там обзавестись семьей, но я не знаю подробностей: об этом не принято было говорить. О многих вещах не принято было говорить. Я уже сказал, что отец никогда не вступал в партию, никогда не исполнял никаких общественных [поручений]... У него были только научно-общественные. Он принимал экзамен по немецкому языку, еще что-то такое. Он был человеком больших дарований, но совершенно лишен честолюбия. Он защитил диссертацию только под большим нажимом женщин, где-то в 1944 году, — для того чтобы мы получили паек. И мы

уже стали не какие-нибудь карточные, полуголодные, а мы отоваривались в Гастрономе № 1. Не в Елисеевском, а в том, который в начале улицы Горького. По-моему, он был № 1. А может, № 2. Это называлось «Литер-А».

Н.Л.: То есть это мы уже вернулись с вами в Москву из эвакуации...

А.К.: Мы уже вернулись из эвакуации, да.

Н.Л.: А про эвакуацию: в тот момент, когда вы эвакуировались, какие-то были... Вот как объявили, например, что началась война? Вы помните? Вы переехали в Москву после эвакуации и...



Студенческая практика на Енисее, 1956

А.К.: Мы вернулись на свое место.

Н.Л.: И вы пошли в школу...

А.К.: Я пошел в школу, во второй класс.

Н.Л.: Можете немножко рассказать об этом времени? Может быть, какие-то воспоминания?

А.К.: Я привык к лесу. И, приехав, я о Пушкино помнил только то, что под ногами, ближайшие окрестности. Но я хотел в лес. Я посмотрел кругом, увидел верхушки сосен и решил, что там лес. А это была Мамонтовка, за рекой Учой. Отправился с утра на лыжах и тут же провалился в реку. Я не ожидал, что среди зимы может быть такой слабый лед... Я поступил в школу. Сначала в одну, где тоже как-то попал в Дилехторы или что-то в этом роде. Тогда меня перевели в школу № 1.

Н.Л.: А где она находилась?

А.К.: В городе Пушкино.

Н.Л.: А, это все в городе Пушкино?

А.К.: К учительнице Анне Ивановне.

Н.Л.: Скажите, а все это время вы образом лепили, рисовали...

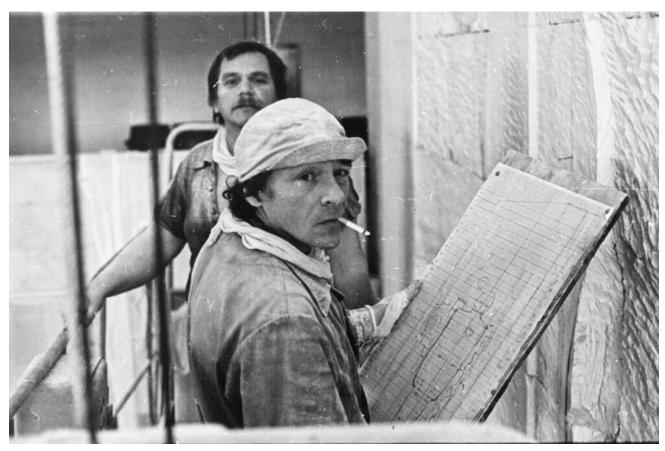
А.К.: Ну конечно, рисовал, лепил. Меня, собственно, забрали в художественную школу, потому что я лепил животных. Квартира сначала у нас была коммунальная, у нас был еще один Николай Петрович, как и мой отец, который работал в том же институте. И вдруг у него объявилась Антонина Александровна, двоюродная или троюродная сестра, совершенно для него неожиданно, которая была из каких-то полуартистических кругов, у которой дочь была балерина, и она, увидев это [рисунки], сказала: «Надо немедленно ребенка отправить в художественную школу! Я сейчас позвоню». И позвонила Николаю Августовичу Каренбергу, тогдашнему директору школы. Или еще один этап: она позвонила еще кому-то...

Н.Л.: И это уже был второй класс? Третий? Какой это был период?

А.К.: В Пушкино я поступил во второй и закончил седьмой там же.

Н.Л.: То есть, МСХШ где-то в восьмом классе началась?

А.К.: Ну да. Седьмой класс там назывался четвертый. Но у меня прибавился год, поскольку МСХШ была одиннадцатилетней.



Работа над рельефом в учебном корпусе центрального института усовершенствования врачей, 1987

Учеба в МСХШ

Н.Л.: Расскажите об этом периоде обучения. Что вам преподавали? Что вам нравилось? Как вы себя чувствовали в этом заведении?

А.К.: Сначала очень неуютно. В первую четверть мне поставили две двойки. Я очень легко и хорошо учился, причем несколько хитровато: я умел сдавать экзамены, отвечать на вопросы. [Двойки] по алгебре и по русскому. Я очень переживал это обстоятельство. Я в Пушкине уже оброс друзьями в классе и болезненно переживал разрыв. И совершенно другая среда. Но, как известно, МСХШ — это была школа неважно как одаренных детей одаренных родителей. Хотя не только. Там было даже и общежитие. В общем, это была чуждая среда. Но потом, как-то скоро я нашел свое место.

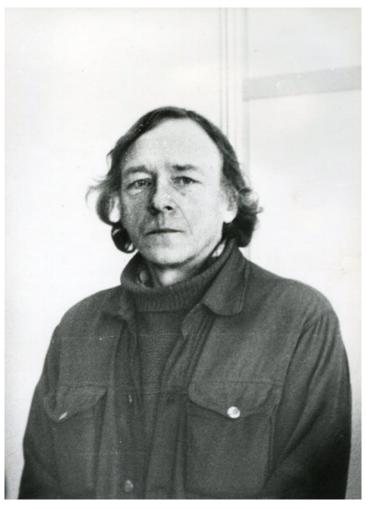
Н.Л.: А как вы в первый раз посетили музей? И каким образом этот посыл к творчеству [появился]? Когда вы заметили в себе эту тягу?

А.К.: Не знаю. Я не знаю, что это за момент был.

Н.Л.: То есть вы все время лепили, рисовали, сколько себя помните?

А.К.: Наверное. Хотя это не было главным занятием. Когда я поступил [в МСХШ], у меня уже, так сказать, определились некоторые [пристрастия]... Мне нравился Коненков очень. Через дорогу была Третьяковская галерея, и у нас был бесплатный вход. И в «Ударник» тоже. Можно было не ходить на уроки, а пойти в «Ударник» по справке. Бесплатно. На утренний сеанс. Я помню один очень яркий момент, но это было гораздо позже. Это было в четвертом или, может быть, в конце третьего класса. Я дружил с Юрием Черновым, который тогда назывался Опендак — это была фамилия его расстрелянных родителей. Он был на класс младше меня, и квартира его родителей находилась в Брюсовом переулке. На этом месте, помоему, сейчас стоит кооперативный дом художнический. Там жила древняя бабушка, согнутая пополам. Это было мрачное, неуютное место. И на пустом столе лежала такая четвертушка: это был журнал «Юный художник», который издавался до войны, и после войны он не возобновился. Это была довольно толстенькая четвертушка, в картонном жестком переплете, на котором крохотная, с почтовую марку репродукция клеилась. И я увидел там картинку, которая меня совершенно потрясла. До этого я просто не знал ничего этого и не видел. Это был «Бульвар капуцинов» Моне. Я никогда не подражал этому импрессионизму, но это было сильнейшее переживание. Потом я заметил, что во мне это все живет и копошится. В детстве очень легко: ты принимаешь это как твой путь, как реальность, главное наполнение жизни.

Н.Л.: А не тяжело было в МСХШ? Там же все время дрессируют, нужно писать постановки, постановки, постановки...



1970-е

А.К.: Мы были на скульптуре. Мы свободные люди! (*Улыбается*.)

Н.Л.: Ну да.

А.К.: Со мной в классе учился... Я зажился, между прочим: все умерли. Саша Белашов. Его мать, Екатерина Федоровна Белашова, тогда была молодым, очень продвигающимся скульптором. И на нее даже гонения [были]: она была тайной и явной поклонницей Голубкиной, импрессионизма, а потом она какое-то время была председателем правления Союза художников СССР. Но это много позже. Но у нее был большой авторитет, она была «гранд-дама»... Она приходила в школу и нас курировала. На скульптуре было гораздо больше свободы.

Н.Л.: Но там тоже был рисунок, как я понимаю?

А.К.: Вся главная муштра проходила как раз с первого по четвертый класс. То есть брали детишек десятии девятилетних и учили их писать акварелью. Это жуткое дело. Меня никто не учил писать акварелью.

Н.Л.: А какие предметы на скульптуре? Я так понимаю, рисунок...

А.К.: Все те же. Рисунок...

Н.Л.: Живопись?

А.К.: Этюд и композиция. В библиотеке не выдавались импрессионисты. Ничего не выдавалось. Все было

закрыто. Но — это уже в последнем классе, а может, в предпоследнем — можно было взять справку и записаться в Библиотеку Ленина. И не в юношеский зал, а в общий. В эту самую Баженовскую «коробку». И там можно было получать те книги об искусстве, которых не выдавали в школьной библиотеке. Например, журнал «ЛЕФ». Я даже манифест Маринетти там прочитал. Но я, собственно, в те времена был последователь этой утопии яростный. И с тех пор, скажем, знаю наизусть всего Маяковского, которого и сейчас считаю великим поэтом и совершенно не понимаю, как это могло быть. Эта стерва, гэбэшная стерва, его возлюбленная (усмехаясь), и он делал вид, что делает жизнь с кого-то? С товарища Дзержинского? Никуда не укладывается. Но это великий поэт! Правда. Потом она сделала первую выставку Татлина, в музее Маяковского, который был где-то ... где-то он не в центре был.

Н.Л.: Продолжим разговор о том, как проходило ваше обучение. Вы рассказывали про «золотую молодежь»...

А.К.: Да. Я не курил табак.



И как-то меня пригласили в курилку, и один мой одноклассник решил меня побить — как идейный противник. Я ему не нравился. Но тут неожиданно выяснилось, что это совершенно невозможно сделать, его руками, во всяком случае.



Выставка «Последние рукописи», галерея «Манеж», 2000

Н.Л.: Почему?

А.К.: Потому что я был сильнее его в три раза. (*Усмехается.*) И это произвело на окружающих и на меня [сильное впечатление]. Для меня это тоже было открытие. И утвердило мою уверенность в себе. У нас была учительница истории Ванда. Красавица! Ослепительная, белокурая красавица! Она мне ставила пять

с плюсом. Я действительно очень увлекался историей. Это тоже было очень важно. Она мне купила в комиссионном магазине книжку — вы понимаете, что книжек почти не было, и цветная репродукция — это была [редкость] — «Романское искусство Италии». Я до сих пор его страшно люблю. Это тоже во многом меня подвинуло. От Великой утопии меня начало отодвигать чтение классических утопистов. Я внимательно читал, скажем, «Город Солнца» Кампанеллы и понял, что это совершенно фашистская вещь, причем фашистская без всякого нацизма. Так же и утопия Томаса Мора. И как-то уже зародились сомнения, которые, как полагается, привели к мысли о том, что все искажено, а потом — что более идиотской идеи, чем идея всеобщей справедливости, быть не может. Эта линия закончилась письмом Хрущева.

Н.Л.: А вот такой момент: я так понимаю, что МСХШ, как вы говорили, — это «золотая молодежь» из телеги. А вы каким были в этом во всем человеком?

А.К.: Я был устремленным. Потом у нас сложился уже какой-то кружок. Мы жили искусством. Мы ездили на охоту, пропадали на несколько суток с Сашкой Белашовым. Мать страшно волновалась, но считала, что все нормально. Мне позволили купить ружье. Потом я прекратил это занятие. Оно не въелось в меня.

Н.Л.: В каком году вы закончили МСХШ, и как дальше...

А.К.: МСХШ я закончил в 1953 году.

Учеба в Строгановском училище

Н.Л.: И решили поступать в Строгановское училище?

А.К.: Да. Мы решили поступать в Строгановское училище, которое тогда было своеобразным учебным заведением: высшим, но начинавшимся с седьмого класса. Мы, естественно, были свободны от всякой общеобразовательной программы. Я плохо рисовал... То есть в школе считалось, что я плохо рисую. И Николай Николаевич Соломин, который, может, до сих пор жив, поставил мне тройку за рисунок. Это меня нисколько не огорчало. Я уже научился работать, научился собираться, и на экзамене в Строгановку я получил пять с плюсом. Там не плюс ставили, там ставили «Фонд». То есть вещь, которая отправляется сразу в Фонд. Дальше все было очень легко. Мы закончили со школой или еще что-нибудь?

Н.Л.: Если у вас есть воспоминания, я с удовольствием их послушаю. Еще какие-то моменты яркие...

А.К.: Старше меня на год был Эрик Булатов. Хотя мы тогда тесно не общались, мы просто... На два года — Кабаков, или они были в одном классе, я не помню. Я уже читал, там, Вельфлина и Гильденбрандта в переводе Фаворского. Потом я перестал читать эти книги. Мне Дима Сарабьянов помог в этом. Как-то все шло очень легко и естественно.

Н.Л.: Это вы сейчас говорите про МСХШ — на год старше были Кабаков и Булатов?

А.К.: Да. А поступал я... рядом со мной рисовал Целков, поражая меня своим великолепным рисунком. Андрей Грасицкий — единственный, наверное, оставшийся из класса. Нет, есть еще... Он был отличник. Вы знаете?

Н.Л.: Ну, не лично. Слышала. А кто вам преподавал?

А.К.: Преподавал Олег Буткевич: вот это был прекрасный учитель! Олег Буткевич, который потом был главным редактором журнала «ДИ». Ничего вам не говорит?

Н.Л.: На слуху, но так, чтобы точно понимать ситуацию — нет.

А.К.: Как-то это не имело большого значения для меня ни в школе, ни в институте. Достаточно было смотреть и понимать. В институте моим учителем был Саул Львович Рабинович. Фигура чрезвычайно интересная. Он закончил Академию художеств, — был ровесником моей матери, я думаю. Где учился, –

у Матвеева. И что-то делал вместе с Филоновым, то есть Филонов его учил тоже. И он был послан на стажировку во Францию году в 1927-м, наверное. Десять лет прожил там, женился на сестре, кажется, уже генерала де Голля, вернулся в 1937 году. Ларионов прибежал на вокзал его ловить, сказал: «Куда вы едете?!» Его не посадили и не расстреляли, я никогда не слышал, чтобы он работал на Лубянку. Его арестовали через какое-то время, но ненадолго. Я все думал: откуда же он французский так... А потом я понял: он просто успел выучить его в гимназии в одесской. Отец его был из «разъевреенной» семьи. Не знаю даже, он, наверное, не знал идиш. Его отец был управляющий винными заводами и ездил играть в Баден-Баден: каждый год в отпуск ездил играть в рулетку или во что там полагалось. Он был необыкновенно красив: высок, статен и похож на «Левитана» серовского, портрет, но не такое кислое лицо. У него была прекрасная память, он был прекрасно образован. Чтобы жениться на француженке он стал католиком. Над ним взяла сразу шефство вдова Бурделя. Она сказала, где ему нанять комнату, мастерскую и заплатила лавочникам за колбасу и сыр, и что полагается. Не давая ему денег, чтобы он их не прогулял. Он общался с Липшицом, Карбюзье, Деспио, который его потом выгнал, — наверное, когда он уже стал общаться с Лившиц. В общем, он был светоч европейской культуры. Он, собственно, ничему не учил. И одно из ярчайших впечатлений — это когда на первом курсе к нам впервые пришли профессора, Саул и Георгий Иванович Мотовилов, тоже красавец, со сломанным носом, с такими волосами... И они все время общались по-французски, если им хотелось. Да, контингент основной был это 64-е ремесленное училище. Но Мотовилов читал им Мандельштама и другие стихи. (Усмехается.) Они все его боялись! Это поразительно. Он мне нравился. Он, собственно, ни в какой подлянке не был никогда замечен. Он был одинок... Вы знаете, что он делал, да? Мне очень не нравилась его скульптура, и он это понимал. То есть мы с ним практически не общались.

Н.Л.: Но он давал какие-то оценки вашей работе? Или он просто присутствовал...

А.К.: Оценки давал художественный совет, которого мы не видели, он ставил оценки. Нет, я учился у Саула. Саул умер в восемьдесят с чем-то лет. Да, работы его не видел никто, потому что он делалкакую-то поденщину, в частности, кажется, работал «негром» у Орлова, памятник Юрию Долгорукому, что-то в этом роде, зарабатывал. И священное занятие его — это модели. Сейчас многие работы его в Третьяковке, и это очень высокой культуры вещи, он и сам был очень высокой культуры. Он был остроумен, безжалостен в оценках, и его очень любили. Он до самой смерти очень любил приходить в «молодое общество». Скажем, преподавать. На годовщину его смерти, десятилетие, что ли, в Доме скульптора собралось больше ста человек. Людей, которые старше меня, и до какой-то мелочи, позавчера родившейся. У него всегда можно было стрельнуть десятку. И мы помешали ему стать доцентом. Он с нами на Новый год... (Смеется.)



Мы где-то очень хорошо выпили, кажется, у него в мастерской. Большой компанией, группой. И поскольку нас не собирались впускать на новогодний вечер, мы полезли все в форточку.



Мастерская в Сокольниках, 2015 г. Фото: Артём Платов, Устная история

И влезли. Но тут его отловили, и он за это пострадал. Нас даже не отловили.

Н.Л.: Он с вами полез в форточку?

А.К.: Да, он полез в форточку!

Н.Л.: Да...

А.К.: Да. В школе же я попал на Масловку.

Н.Л.: В смысле вы стали ходить туда, или просто...

А.К.: Мастерская Белашовой была на Масловке. Мы туда приходили, смотрели черно-белую откуда-то переснятую коллекцию итальянской живописи — живописи Ренессанса, которую я до сих пор обожаю. Хотя вообще-то не должен был бы любить это искусство, лишенное импровизации совершенно.

Н.Л.: Возрождение, лишенное импровизации?

А.К.: Ну конечно! Я не понимаю, как они писали картины! В Уффици есть картон Беллини, я очень люблю Беллини, но картон — все нарисовано до миллиметра! Скучно просто! А потом крась, да? Нарисуй и раскрась? Что это такое?

Н.Л.: Ну да...

А.К.: Они считали пуговицы! Меньше пуговиц — меньше получишь. Я очень любил Микеланджело, который не считал, в общем-то, пуговицы. Чем дальше, тем свободнее делал это. Хотя вот только что я был в первый раз в Милане и видел Пиету Ронданини там возраст сказался. Но он и умер на этой работе... Масловка. Я мог встретиться с Татлиным еще, который в 1956 году умер, а я попал туда в 1953-м... Нет, раньше. В 1952-м.

Н.Л.: На Масловке ведь была прекрасная библиотека. Вы не попадали?

А.К.: Я не пользовался, достаточно было у меня возможностей доставать книги и «Самиздат».

Круг «Левого МОСХа». Профессиональная деятельность

Н.Л.: Кого вы еще застали на Масловке?

А.К.: Сотникова... Потом, после окончания Строгановки, я познакомился с Шаховским, то есть, следовательно, там, с Жилинскими. С этим «Левым МОСХом», в составе которого меня и с которыми меня объединяло только нечто человеческое. Совершенно... Да, Андронов, Васнецов...

Н.Л.: То есть вы застали на Масловке тогда Андронова?

А.К.: Нет, это не Масловка...

Н.Л.: Просто вы сейчас обозначили...

А.К.: Нет-нет, это круг...

Н.Л.: Круг обозначаете свой?

А.К.: Круг «Левого МОСХа» тогдашнего, куда меня привел Шаховской... На Масловке был Алексей Евгеньевич Зеленский, тоже ученик Татлина и тоже его сотрудник по «Летатлину». И он был как бы гуру для Шаховского и Жилинского во всяком случае. Для меня не был гуру, но мы с ним были дружны. И это тоже было открытие в мир авангарда. Вы Зеленского совсем не знаете, вам ничего не говорит...

Н.Л.: Нет, почему, говорит.

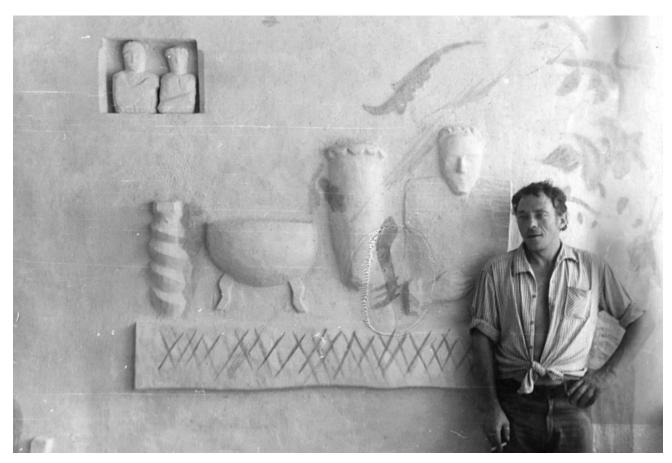
А.К.: В Третьяковке одна его работа: он, собственно, не выдающийся художник, но по жизни это было прекрасное художество. И у него был дом в Судаке, который позже сделался нашим приютом, особенно когда мы там работали, в Крыму. Долгая история. Много всего.

Н.Л.: Очень хорошо. То, что нужно.

А.К.: Потом Илья Слоним, его сверстник. Илья Слоним, его жена Татьяна Литвинова, дочь бывшего наркома иностранных дел, к тому времени умершего, но не расстрелянного. Их дочь Маша, которая через некоторое время переехала в Англию и работала на Би-би-си. Это уже околодиссидентский круг, а потом и совсем диссидентский. Я никогда не был диссидентом, но водку с ними пил всегда. Ну, с Масловкой много связи.

Н.Л.: Расскажите, пожалуйста, все, что возможно.

А.К.: Масловку? Отдельно?



Рельеф в культурном центре совхоза «Дружбы народов», Крым, 1974

Н.Л.: Отдельно, да...

А.К.: Я, собственно, в основном уже все рассказал. Дело в том, что потом я нашел себе мастерскую. На Нижней Масловке. Это место всем известно. От дома не осталось даже места на небе. (*Усмехается*.) Это место поворота Третьего кольца, с Новой Башиловки на Нижнюю Масловку. Представляете?

Н.Л.: Да-да-да.

А.К.: Тут стоял такой же пятиэтажный дом, как следующий. Это были трехэтажные дома, относящиеся к индустрии бегов, а потом достроенные, в сталинские времена. И у меня была котельная, которая раньше обслуживала этот дом, а потом его обслуживала, естественно, теплоцентраль.



Но у меня была персональная труба! И мне не нужно было делать камин: это был очаг, в который могло утащить просто, тягой. Очаг делается центром притягательным. Это такой архетип.

Так что ко мне было близко и с Верхней Масловки зайти, и от метро «Динамо» недалеко.

Н.Л.: Это уже после обучения?

А.К.: После окончания Строгановского училища. Как это бывает: окончил я Строгановское училище с твердым намерением никогда больше не заниматься этим делом. Но в очень скором времени, уже не помню, что было раньше, что позже, пришел мой друг Белашов и позвал меня работать в контору,

которая называлась «Мастерская — институт по проектированию Дворца Советов». Это находилось на Большой Красносельской. Это была «шарага» советская. Нам платили зарплату, восемьсот рублей. У нас была полная свобода. Было ясно, что из этого ничего не получится, хотя это делали Власов и Мезенцев. Это была хрущевская идея, она скоро завяла, а я ушел просто потому, что уже пустился в свободное плавание.

Н.Л.: А кто в этом периоде у вас был гуру? Человек, который...

А.К.: Шаховской. У нас у всех был гуру Дима Шаховской, который жив и сейчас. Он обладал совершенно уникальными качествами: бесстрашием, умом, прямотой. Он разрешал всяческие проблемы. Мы с ним просто остановились друг против друга в метро «Комсомольская», это я хорошо помню. И рубашку помню, в какой я был. Хотя до этого мы как-то шапочно были знакомы. Тут я уже попал в эту орбиту.

Н.Л.: А как у вас происходил диалог? Над вашими работами, например. Как он направлял, расскажите.

А.К.: Он ничего не направлял. Вот это нет.

Н.Л.: Такого не было?

А.К.: Нет. И это до самого конца: он давно уже не работает. Я не принял ни единого его замечания, если таковые были. А он, по-моему, не принял мои. Это не мешало нашей тесной дружбе и совместной работе даже. В Русском музее сейчас находятся две деревянные фигуры, модели скульптуры для сочинского Театра эстрады или что-то такое (Архитектор Виктор Шульрихтер). Это не пошло, но модели в натуральную величину в Русском музее. Насчет советов — это была Нина Жилинская! Вы хоть видели ее?

Н.Л.: К сожалению, нет. Живьем нет.

А.К.: На фотографии!



1970

Н.Л.: Да-да, видела.

А.К.: Она же была очень красива, но в ее поведении это совершенно не учитывалось. Она была активнейшим человеком. Марина Романовская, Ира Блюмель... Это был «Левый МОСХ». Они меня все подымали. Я был самый молодой, долго оставался так. Лет за сорок уже все. Но потом появилось следующее поколение. И тоже из МСХШ. А они-то к этой МСХШ никакого отношения не имели. Потом первая большая работа... Но я уже наделал много деревянной скульптуры. У меня все время какой-то был... до сих пор это остается. Скажем, ко мне привели Костаки, он решительно ничего не увидел. Он увидел маленькую палеолитическую Венеру, гипсовую отливку, и пошел. И сказал: «Что это?!» Что-то вроде: «Почем это?». Я был у него, и я видел его коллекцию...Первая работа, которую вообще-то увидели многие — это рельеф для Тульского театра. Вот этот кусок, вон на той фотографии, в углу слева. Его нельзя увидеть в натуре, он застроен. Хотя есть закон о восстановлении первоначального облика архитектурного. А Красильников, построивший это, до сих пор жив, и мы до сих пор дружим. Красильников — это строитель. Вы его знаете по Дому музыки. Во всяком случае, знаете, что такое Дом музыки. Это был первый заказ, принесший мне некоторую известность. Все очень переживали, потому что я не делал его из глины, я его делал в песке сразу. И все это было сделано за две недели или даже меньше. Но это я делал как контррельеф: я выбирал песок. Песок не представляет почти никакого сопротивления. Для этой работы. Я долго тренировался, а потом... Я подумал, что у меня просто жизни не будет, я буду завален заказами! Это имело большой резонанс в архитектурных кругах — но ни одного заказа не последовало.

Н.Л.: А что там было изображено?

А.К.: Это история театра. Кусок в Третьяковке стоит. Вы входите, поднимаетесь на антресоли между первым и вторым этажом. Там стоит плохая, ужасная версия Татлина. А за ней — дальше, в самом конце этого пространства, на стене лифтовой шахты, стоит вот этот кусок рельефа, его оригинал гипсовый. То, что вынуто прямо из песка. Это Королев... Мы давно уже были в Русском музее. «Мы» — это я говорю мы с Шаховским. И Королев спохватился. Он [рельеф] замечательно освещен боковым светом. Но никто его не видит. Ну, неважно. Он встроен там навеки, хотя дом могут снести, естественно, как и все остальное. Потом я подружился с младшими, с теми, кто младше меня на шесть—восемь лет. Леня Соков, Саша Косолапов, Саша Юликов. Мы до сих пор в прекрасных отношениях. Я очень люблю их работы и тогда любил, но меня в эту сторону не тащило, и я совершенно не хотел уезжать, хотя возможность у меня была уехать в Англию. Я не жалею о том, что не уехал. У меня было ощущение, что все идет как надо, что лучшей жизни быть не может. Я делал то, что хотел. Не выставляли меня — но мне совершенно достаточно было того круга, который у меня был, круга ценителей. В смысле денег — тогда не нужно было никаких денег. Все было даром. Деньги только на водку и на такси. Треска за шестьдесят копеек. Такси, кстати, тоже: рубль в любой конец. И... давали, как это называется в блатном мире, «святой костыль». В скульптурном комбинате, который принадлежал Художественному фонду, мне никогда не давали вождя революции. Понятно, там свои умельцы были. Да я бы, может, и не взял. А... портрет какого-то героя. Белинского я однажды сделал. Я прошел школу, так что претензий не было. А все работы, которые я делал, монументальные, в архитектуре, все заказы я приносил сам. Их мне не давал комбинат, так что я от него был полностью независим. Да и вообще, я на художественном совете не получил ни единого замечания. У меня широкие плечи были очень. И непредсказуемое поведение, как они думали. (Усмехается.)

Н.Л.: Вот вы в МОСХ вступили все-таки, да?

А.К.: ВМОСХ — с большим трудом и усилиями многих людей. Это весь «Левый МОСХ» поднатужился... В общем, всячески, как могли. При том, что Шаховской, наверное, был в правлении, и Ира Блюмель была в правлении. К тому же она была партийная с войны, как и Васнецов. И меня со скрипом приняли в кандидаты — это была такая форма. Но потом перевели. И это было довольно поздно. Это был, помоему, 1968 год. Может это быть? Кажется, так. То есть мне было уже, стало быть, тридцать четыре года. И в 1969 году... нет, в 1979 году наша выставка «Тринадцать». Единственная выставка, которая была у меня до 1990 года. Сколько их было после 1990-го я не знаю, и это невозможно даже восстановить. Это была выставка «Тринадцать». Там участвовали Шаховской, Жилинская, Марина Романовская, Павел Шимец, Андрей Дюков. Но здесь, еще, конечно, все было прикрыто широкой спиной Жилинского, который всегда был прозрачно честным человеком. Его искусство ни у кого не вызывало никаких возражений, несмотря даже на то, что оно пользуется успехом за границей. И время от времени случались большие заказы, то есть работа в архитектуре. Их было всего-то не больше десятка. На выставке, которая откроется 14 ноября, это все будет представлено.

Н.Л.: А меня интересует такой вопрос: для вас выставка — это что? Это возможность посмотреть на себя со стороны или какой-то новый этап в жизни?

А.К.: Нет, выставка — это отдельный жанр. У меня была большая выставка... вот книга, вы ее можете утащить, если не поленитесь — тяжело. Это сделано к той выставке, что была десять лет назад. Выставка — это событие. Все приходят, выпивают, закусывают. Это как бы обязательная составляющая.

Н.Л.: То есть это как бы окончание этапа какого-то...

А.К.: Ну, я не знаю. Сейчас ни о каком этапе не может быть речи, поскольку они все время: не персональные, но персональных тоже очень много. Нет, та имела, конечно, совершенно принципиальное значение. (Усмехается.) Выставка 1979 года. Это была публикация. Это была первая публикация... Много народу узнало. Русский музей не приезжал на эту выставку. Выставку делала Ирина Ефимович, и она через некоторое время притащила ко мне нового директора Русского музея — это была Новожилова... — Забыл имя-отчество. Я вспомню (Лариса Ивановна) — которая не была искусствоведом,

она читала, наверное, марксистско-ленинскую философию, но была в некотором кайфе от этой должности. После Пушкарева она, Пушкарева выгнали. С Пушкаревым я был знаком, но он скульптурой не интересовался, как я понял. И заместителем у нее был Саша Губарев, человек не от искусства, а технарь, который в силу каких-то обстоятельств был подкован и водил экскурсии в Русском музее. Мы с ним быстро подружились. А потом он был, я думаю, даже инициатором кражи работ Филонова и замены их «фальшаками». Он собирался уехать за границу и отправил работы впереди себя. Я знал, что он собирается ехать за границу, и его сильно отговаривал. Мы, в общем, были в очень дружеских отношениях. Но я не знал, что он украл эти работы. И умер от инфаркта. Это я видел уже по телевизору передачу: все умерли, кроме одного человека, который остался без ног. Умерли все, кто участвовал в этом преступлении или афере. Кто участвовал в этом преступлении или афере. Работы вернулись, их нашли во Франции.

Н.Л.: Интересно.



1970

А.К.: Но это случилось уже через много лет. А тут они были достаточно невинные люди. А я былвсе-таки достаточно скрытой фигурой, они не могли никак знать об этом, и они немедленно отобрали большую группу работ в Русский музей. Это было, конечно, изменение судьбы. Некоторое изменение моих отношений с отцом. Мать уже к тому времени умерла. Он думал, что я занимаюсь совершенной ерундой. Но он, как я сказал уже, был человек «рацио»: верил в авторитеты. И это произвело на него впечатление. Русский музей... (*Усмехается.*) Мать уже к тому времени умерла.

Н.Л.: Да. Это серьезный аргумент.

А.К.: Да-да. Это было, конечно, торжественное событие. Событие, меняющее судьбу. Я об этом написал, что я никогда не сомневался, что пара моих работ после моей смерти попадет в Русский музей. Мы, значит, приехали, пришли наши работы. И нас вводят в запасники — это святая святых! Причем это же совершенно особый народ — да и сейчас так — хранители! Это не те, кто занимается коммерцией, как дирекция, отделы всякие. Хранитель приходит и запирает дверь на ключик, и директор не может войти, не позвонив по телефону. Открывает шкафчик, достает чайный или кофейный прибор, достает ликеры, что у него есть. Ты говоришь: «Хочу это посмотреть, хочу это...» И тебя ведут туда и сюда. И там я впервые увидел Матюшина. Просто мы проходили, я увидел его дореволюционные, во всяком случае, «Сосны»... и заорал: «Что это такое?!» — «Это Матюшин». Мне была неизвестна фамилия. Работы наши поставили в комнату запасника, где стояли Филонов, Малевич. (Усмехается.) У них не было другого помещения: они там тоже как-то находились промежуточно. Экспозиции не было, как и сейчас ее почти нету у них. Практически. И потом это давало средства к жизни, несмотря на мизерность цены. Но все остальное так же мизерно стоило. Они несколько лет покупали у меня много работ. До сих пор отношения с музеем живы.

Н.Л.: А ваше первое соприкосновение с русским авангардом? Когда вы в первый раз увидели?..

А.К.: Маяковский.

Н.Л.: А в живописи?

А.К.: Наверное, Давид Штернберг. Правильно я произношу? Давид...

Н.Л.: Штеренберг.

А.К.: Штеренберг. Нет. Давид, Давид... склероз. Обложки работы Рочинской. Татлин откуда-то. Потом уже выставка Татлина: это где-то в конце 1950-х, наверное. Там, правда, было очень много поздних работ, но слетели уже запреты. Потом открылась первая экспозиция Третьяковки. Там Лучишкин был... еще чтото этого плана. Конструктивизм нравился мне всегда. В общем, каким-то образом я в этом уже существовал. Точно так же, как я очень поздно увидел Бойса, и Польке, и Кифера, но я увидел не новое, я увидел то, что как бы давно очень знаю. Я в первый раз попал за границу в 1990 году. Но меня совершенно не угнетало то, что я не выездной: мне это было все равно. Я никаких движений не [делал]... А в 1990-м мне принесли домой паспорт и билет. Не помню, это была, кажется, большая выставка в Париже, которая называлась «Figurative Critic», большое объединение фигуративного искусства. Эта выставка занимала... это страшней Манежа: это Гранд-Пале. Все занято! И это была МОСХовская делегация. А может, это Андрей Васнецов сделал, я не знаю. Васнецов не выставлял своих работ, но у меня был заграничный паспорт, и чуть ли не зеленый. А потом мне предложили сделать... Это уже предложил архитектор Климочкин, который работал в Париже, то есть бывал в Париже, делая советское посольство вместе с Посохиным. Я с ним был знаком. Ему было предложено посетить Австрию, концлагерь Эбензее, где захоронено огромное число советских граждан, военнопленных. Они строили там шахты... Со всей Европы военнопленные строили там шахты для нового завода «Фау-2». И в этой деревне или в этом рабочем поселке в то время были два или три коммуниста. Один из них — Эллингер, Грегор Эллингер, он был участник войны, его взяли в плен и отправили в лагерь, в «шарашку», где воспитывали эту самую «пятую колонну». Он был убежденным коммунистом, никакой пятой колонной не был, пользовался очень большим уважением. Кладбище огромное. Кладбище — это исторический памятник, сохраняется и будет сохраняться вечно. Это филиал Маутхаузена. Все переписаны поименно, родственники приезжают в День освобождения. Только советские военнопленные, которые составляют большую часть погребенных на кладбище, не отмечены ничем. Климочкин сделал фотографии, приехал в Москву, пошел в Третьяковскую галерею, там была какая-то выставка, может, новых поступлений. Увидел мои работы, вспомнил про меня, пришел ко мне. Я сделал эскиз, сказал, сколько он стоит. Это уже начало нового времени. И мне принесли паспорт снова. Паспорт, вполне человеческие суточные и так далее. Мы поехали на рекогносцировку, потом я сделал модель, потом памятник сделали на заводе — он из

железа. Ну и так далее. Потом мы его ставили. Это тоже целая полоса. К тому же, попав в Австрию, я понял, что с детства ученный немецкий язык я не забыл. И все еще облегчалось тем, что там они говорят на чудовищном, непонятном альпийском диалекте, а немецкий знают по школе. То есть они говорят как я: HochDeutsch просто. Нам очень легко было понять друг друга.

(Текст авторизован А.Н. Красулиным, часть фото из личного архива А.Н. Красулина)